

ТЕКСТ И НАРРАТИВ КАК ПРОБЛЕМА ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ТЕОРИИ

Власова О.П., Мунтян А.А.

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. В.А. Лазаряна

Для многих ученых культура постмодерна, официально задекларировавшая свое существование с середины 50-х годов XX в., – это «время знака». Время, когда медиа-образы, виды и способы информации, «режимы сигнификации» и «эстетизация» ежедневной жизни стали главной чертой современного опыта (К. Пламмер). Время конца «grand narratives» – период фрагментарности, деструктуризации, децентрализации. По мысли М. Хоркхаймера и Т. Адорно, разум более не является самозаконодателем, так как нормы, ценности и модели функционирования, диктуемые наукой, единообразны и не терпят возражения, а потому Просвещение есть обман масс [1].

Проработав некоторые концепции М. Фуко и Ю. Хабермаса о «легитимации» знания, постмодернизм рассматривает любую форму вербальной организации этого знания как специальный тип дискурса-повествования. Согласно Ж.-Ф. Лиотару, среди множества «языковых игр» попытка легитимации собственного статуса ведет к возникновению «метадискурсов», последние принимают форму метанарративов. Ученый пишет, что если все упростить до предела, то под постмодернизмом понимается недоверие к метанарративам [2]. Для Просвещения целью любого познавательного отношения человека к миру является познание истины. Постмодернизм отрицает объективную данность истины, и любая попытка обнаружить истинную сущность вещей обречена на неудачу, поскольку истина – не более, чем лингвистический, исторический и социальный конструкт. Язык, утверждает Ж. Деррида, предшествует бытию, конструирует его. Текстуальность завладевает онтологией.

Экстралингвистическая реальность есть иллюзия, мир есть текст. Изучение литературы – это изучение интертекстуальности. Деррида трактует человеческую деятельность в целом как чтение безграничного текста мира, заостряя при этом проблемы дискурсивности, неопределенности значений. Скрещивание и взаимопроницаемость языков в интертексте образуют метаязык деконструкции, разрушающей бинарные оппозиции логоцентризма: голос/письмо, означаемое/означающее, сознательное/бессознательное, реальность/образ, вещь/знак, где первый элемент всегда имеет привилегированное положение. Постмодернистский писатель или художник находится в положении философа: текст, который он пишет, произведение, которое он создает, в принципе не подчиняются заранее установленным правилам, им нельзя вынести окончательный приговор, применяя к ним общеизвестные оценки. Этим и объясняется тот факт, что произведение и текст обладают характером события. В противоположность модернистам постмодернисты отвергают все метаповествования, все системы объяснения реальности, которые человек традиционно применял для осмысления своего положения в мире [3].

Несколько иную по сравнению с Лиотаром трактовку понятия «метанарратив» дает Ф. Джеймсон, утверждая, что повествование – не столько литературная форма или структура, сколько эпистемологическая категория. Подобно кантовским категориям времени и пространства, она может быть понята не как черта нашего эмпирического восприятия, а как одна из абстрактных координат, внутри которых мы познаем мир. При этом все, что репрезентирует себя как существующее за пределами какой-либо «истории», может быть опосредовано сознанием только в виде повествовательной фикции, вымысла. Иными словами, мир доступен и открывается человеку лишь в виде историй, рассказов о нем. В отличие от Лиотара американский исследователь считает, что «доминантные коды» не исчезают бесследно, а продолжают влиять на сознание людей, существуя в

рассеянном виде всюду. В результате индивид не осознает своей «идеологической обоснованности», что характерно прежде всего для писателя, имеющего дело с таким «культурно опосредованным артефактом» как литературный текст, который в свою очередь представляет собой «социально символический акт» [4].

Положение, утверждающее, что история и общество являются тем, что может быть «прочитано» как текст, привело к восприятию человеческой культуры как единого «интертекста», который в свою очередь служит как бы предтекстом любого вновь появляющегося текста. М. Бахтин утверждает, что помимо данной действительности художник имеет дело также с предшествующей и современной ему литературой, с которой он находится в «постоянном диалоге». Центральной идеей, объединяющей труды М. Бахтина, является диалог. По мнению философа, «текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом). Только в точке этого контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад, и вперед, приобщающий данный текст к диалогу» [5]. Через призму интертекстуальности мир предстает как огромный текст, в котором все уже было сказано, а новое возможно только по принципу калейдоскопа, а потому для Р. Барта любой текст – это своеобразная «эхокамера». Более того, Барт убежден, что прозведение не нуждается ни в каком посредничестве со стороны ученого – комментатора; бессмысленны также и всякие притязания на «расшифровку» текста.

И хотя важнейшая задача, которую ставят перед собой гуманитарные науки, в том числе философия и литературоведение, заключается по-прежнему в том, чтобы «выявить неявное», вскрыть зачастую неосознаваемые механизмы культурной деятельности человека, хотелось бы подчеркнуть, что в любом литературном произведении кроме множества неявных смыслов, есть еще и явные значения, хотя они и представляются постмодернистам весьма сомнительными. Литература как

уникальный источник знаний о личности и обществе и сейчас является привилегированным материалом в исследованиях не только литературоведов, но и лингвистов, культурологов, социологов, психологов. Философы, со своей стороны, интенсивно исследуют литературные тексты, отражающие определенные философские воззрения, при этом обогащая философский дискурс романскими произведениями, драматургией и поэзией.

В. Изер, развивая антропологические аспекты своей рецептивной теории, считает, что поскольку возникающие в сознании читателя образы формируются на условиях, предлагаемых «чужим» - автором или героем произведения, то читатель формулирует эти образы, не ориентируясь на свои оценки или критерии. В этом процессе, по Изеру, литературное произведение – это переходный объект, колеблющийся между воображением как «способностью» души и вымыслом как «стратегией» автора. В. Изер отвергает как недостаточную дихотомию «вымысел – реальность», находя слово «вымысел (das fiktive) слишком многозначным, объединяющим разнородные психические явления. Вместо этой дихотомии В. Изер вводит триаду «вымышленное – воображаемое – реальное». Если воображение есть некая душевная «способность», то вымысел – это сознательная стратегия по использованию воображения в определенных целях. Литературный текст обозначает не столько объективную реальность, сколько отсылает читателя к чему-то не существенному в этой реальности, следовательно, «текстуальные модели» представляют собой «эвристические» решения. Вымысел – не противоположность реальности, а некое сообщение о ней. Иконические знаки вымышленного текста – это организованные означающие, которые не столько обозначают предметы, сколько дают указания, в соответствии с которыми должны создаваться означаемые [322].

Для Ж.-Ф. Лиотара, как и для Витгенштейна, укоренившаяся «изолированность» языковых игр строится на специфичности жизни, в которой они воплощены. Перевод предложений, принадлежащих к разным режимам, следовательно, невозможен [357]. Лиотар делает замечание, правда, что «языки переводимы, иначе они не языки, но языковые игры не переводимы, поэтому, если бы это было так, они бы не были играми языка. Это как если бы кто-то захотел перевести правила и стратегию шахмат в шашки» 357 Что для Лиотара очень важно, - так это непостижимое разнообразие человеческих интересов и глубокое недоверие к любой попытке представить универсальную валидную структуру интересов. Не будет проблемой утверждать, по словам Дж. Фроу, что ценность (value) – это всегда «ценность чего-то», привязанная к определенной оценивающей группе. Что вызывает проблему, так это тот факт, что в нашем мире границы сообществ всегда размыты, поскольку люди принадлежат одновременно различным оценивающим сообществам, сообщества перекрещиваются, и они гетерогенны. Привязывать тексты к формам жизни, таким образом, предполагало бы, что эти тексты полностью входят в контекст без осадка и без возможности дальнейшего их использования [355, с. 59]. Анализируя «режимы ценностей», Фроу пишет, что они составляют широкий набор соглашений относительно того, что желательно, что входит в «обмен уступками», кому разрешается осуществлять эффективное требование и в каких обстоятельствах [355, с.60]. Безусловно, суждения по ценности – это всегда выбор внутри отдельного режима. Представляется, нельзя сказать, что режим определяет, какие решения будут приняты, но он специфицирует отдельные рамки возможных суждений и определенный набор соответствующих критерий. Несогласие может возникнуть в месте «нахлеста» режимов, но, по сути, несогласие возможно только там, где присутствует некое разногласие по правилам, которые являются общими.

Трудности, которые возникают при любой попытке избежать политики тотализировать суждения, часто выливаются в форму философской дилеммы аксиологического (и имплицитно-эмистемологического) релятивизма [355, с. 61]. «Лучше» или «хуже» будет иметь значение только в той степени, в какой принято соглашение по структуре оценки, а также по авторитетности и полномочиям лиц, внутри структуры выражающих эту оценку. Отсюда вопросы, связанные с этическими и политическими проблемами: «Кто говорит?», «Кто говорит вместо кого?», «Чей голос слушают?», «Чей голос не слушают?», «У кого нет голоса?», «При каких обстоятельствах будет правильно или неправильно, эффективно или неэффективно говорить за других?». Возникает еще одна интереснейшая проблема – проблема валидности репрезентации и роли интеллектуальной элиты, осуществляющей эту репрезентацию. Линда Алкофф выливает проблему репрезентации в форму провозглашений модальности, отношениям социального положения и семантики высказывания. Ее цель – дать нечто подобное этике или этико-политике говорения. Быть автором, считает Алкофф, не означает быть источником высказывания, но скорее быть уполномоченным в качестве его источника. Она вводит сложную семантику контекста: локальность скорее передает значение и правду, чем определяет их; она множественна и мобильна. Акт говорения от группы, следовательно, чрезвычайно сложен. В том смысле, что локальность не является зафиксированной сущностью, и в том смысле, что существуют отношения соперничества между локальностью, с одной стороны, и правдой, с другой, мы не можем низвести оценку значения и правды к простой идентификации авторской локации [358, с. 16-17]. Поскольку акт высказывания за других лишает права быть субъектами их собственной речи, отказ говорить от лица угнетаемых предполагает, с другой стороны, что они сами наделены властью говорить как такие субъекты. Аргументы Алкофф очень близки здесь аргументам Гайтари

Спивак, когда, поднимая вопрос по влиятельнейшим замечаниям Фуко и Делеза о «фундаментальном отсутствии достоинства при говорении за других», последняя оспаривает, что любой призыв к угнетаемым как к саморепрезентативным и полностью контролирующим знание своего собственного угнетения, ведет к двойному утаиванию: с одной стороны, факта, что эти саморепрезентируемые угнетаемые все еще являются фактом дискурса, репрезентацией, и, с другой, - роли интеллектуалов в конструировании этой самоотрицающей репрезентации. То есть не может быть простого отказа от роли судьи или универсального свидетеля, поскольку сделать так означало бы дегенерировать институциональные условия, следствия и ответственность интеллектуальной работы [359]. Завершая обсуждения проблемы репрезентации ценностей и роли в ней интеллектуалов, следует привести слова Джона Фроу о том, что вопрос об отношении к режимам ценностей не является персональным, это институциональная проблема. Ключевое условие любой институциональной политики, однако, это то, что интеллектуалы не дегенерируют со своего статуса обладателей культурного капитала, но принимают возникающие противоречия и борются с ними, то, что их культурная политика во всем спектре культурных текстов должна быть открыто представлена как не чья-то, но их собственная политика [355, с. 66].